

Андрей АНТИПИН

ЖИВЫЕ ЛИСТЬЯ

Из книги миниатюр

ВОЛОСОГРЫЗКА

Села на голое плечо, побежала под майку, неприятно царапая кожу. Извернулся, поймав, оторвал голову – и бросил за металлическую сетку летнего курятника. Голова поползла, шевеля чёрными усищами. Курица догнала и склевала.

– Ты вырастешь злым и жестоким! – сказала мама.

А я вырос писателем. И первая чужая боль, прочувствованная, как своя, – боль несчастной волосогрызки, которой оторвали голову. Первое отчаяние и одиночество – от слов мамы, ведь она ничего не поняла.

ЗЕМЛЯ

Бывает, найдёшь в лесу какой-нибудь инородный предмет, скажем, электрическую лампочку с повисшей паутинкой-спиралькой и проржавевшим цоколем. И такое странное чувство, столько вдруг привязанности и теплоты, как будто однажды ушёл насовсем, унеся с собой лишь эту память о земле, где когда-то жил. И не то чтобы очень удивишься, откуда лампочка в этих диких местах, сколько захочешь поверить, что она – советских времён. И не потому хочется уверовать в это, что есть в тех советских временах

какая-то всеобъемлющая сладость, а потому что из советских лет твоего детства, с той земли, на которой тебя уже не будет. Так, впрочем, и сама земля канула безвозвратно и теперь напоминает о себе такими вот грустными находками вроде сгоревшей лампочки или отклеенной на парú почтовой марки, случайно обнаруженной между страниц некогда любимой книги. Но, может быть, эти-то напоминания и стали той последней нашей землёй, пядью священной её, которую уже не отобрать, даже у мёртвых.

Андрей Александрович АНТИПИН, прозаик, поэт родился в 1984 году в селе Подымахино Усть-Кутского района Иркутской области. Окончил факультет филологии Иркутского госуниверситета. Публиковался в журналах «Москва», «Молоко», «Наш современник», «Сибирь», «Юность», «Бийский Вестник» и др. Лауреат премии им. Леонида Леонова и премии журнала «Наш современник». Член Союза писателей России.

Живёт в родном селе.

НА КРУГИ СВОЯ

Записав очередную мысль в блокнот, машинально, как ракета отработанную ступень, уронил карандашный огрызок под дерево: авось, снова вырастет – деревом, лесом.

И был в этом произвольном движении некий момент смыкания в круге, ведь и я однажды полюбил книги, как лес, и когда в семнадцать зимовал в бурятском посёлке, посреди сплошной жёлтой степи с завихреньями гнилого березняка на горизонте, – и сам стал писать, уже осмысленно, целенаправленно, ни книг, ни, видит Бог, славы ради, а словно бы возвращая лес, населяя им унылую равнину жизни.

И кто бы – юноше печальному, бледному – подсказал, что нипочём не повторится незабвенное времечко первых loves, первых серьёзных болей, первых черновиков и карандашей, а в грядущем и подавно пройдёт час, когда вот этот исписанный карандашик останется едва ли не единственной надеждой на то, что всё же не сгинут бесследно ни жизнь твоя, ни твои книги, ни те бессонные семнадцать с их крошечным одиночеством на краю мироздания, в центре безжизненного бумажного пейзажа, на переднем фланге русского слова.

ДИЛЛЕМА

Богу, пожалуй, всё ещё нужны, а вот людям больше не нужны. И вдруг кощунственное, но и правдивое, искреннее в своём порыве, а стало быть, по сути:

кабы эту удобность сменить на нужность, если уж нельзя совместить! Но в то же время и сомнение: а зачем такая нужность, которая не угодна Творцу?

ПУСТОТА

Снег с ночи, ветер и воскресная пустота в посёлке. Лишь одинокий рыбак с утра сидит на льду, глядит в лунку – и что-то там видит?

Несколько раз выходил на угор, хлопая калиткой на пружине, – сидит как привязанный, соорудив со стороны ветра и снега защиту из кольев и брезента. Ни снега, ни ветра в этом затишке. Иногда, впрочем, – дымок от старенького бензинового примуса. Вот и всё, чем жив человек...

Наверное, что бы ему ни виде-

лось в лунке, он счастлив в своей пустоте! Так счастливы все мы – сначала в утробе, затем в детской кроватке или пионерской палатке: оттого, что мир огромен и всё ещё впереди, надо лишь прогрызть этот кокон. Как счастливы потом, жизнь спустя, когда всё, что было можно, выполнено, а дней осталось ровно столько, что ни доделывать, ни, тем более, начать заново, только сидеть и ждать. И чувствовать, как снова обрастаешь коконом, возвращаясь в себя, прежнего, и уже навсегда.

КРЫЛЬЯ

Непогода весь день, холод, ветер, и то едва дребезжит, когда ветер тише, то исступлённо стрижёт воздух винт деревянного самолёта, вытесанного мною после того, как забрался на крышу и увидел, что прежний рассохся и стал крошиться. Тот, первый, я установил в год окончания школы, новому от него достались лишь алюминиевые крылья, и есть в этом что-то символическое, как будто крылья достались мне, теперешнему, от семнадцатилетнего меня. Но не только дерево взялось трещинами и со временем пришло в негодность, не только я постарел! Даже винт из нержавеющей стали перетёрся и валялся на полпути к водостоку, должно быть, смытый туда дождями или оползший с весенним снегом. Пришлось вырезать и выгнуть другой, просверлить в центре и навесить в носовой части. Я выточил её заострённо, сообразно со строением птицы, то есть как и задумывалось авиаконструкторами. И когда, наконец, мой самолёт был готов, отполирован шлифовальной шкуркой и в завершении

опылён серебрянкой из баллончика с весёлой горошинкой внутри, я снова взлез на крышу, как взбираются на неё, чтобы водрузить знамя или флаг, и закрепил своё детище, повернув на запад винтом, хвостом на восток. Винт сразу дёрнулся, как если бы в нём проклюнулась электрическая искра, а через миг раскрутился до прозрачного кружочка и с подвывом загудел. Был вечер, меркло солнце, облака на закате светились, как неоновые. Я сидел на коньке, курил сигарету, слушал натужный рёв самолёта и, может быть, в этот момент возвращался, словно на спине фантастической птицы. Ну а если и не возвращался, всё равно по-своему это было хорошо – ветер, самолёт! Пусть и дальше гудит в тревожные минуты жизни, напоминая о днях её, которые, как известно, скоротечны и вот уж действительно невозвратимы, если не считать этого снова объявившегося в моей судьбе самолёта. А там, глядишь, ещё что-нибудь вернётся ко мне – чистое, юношеское, просящее лишь крыльев и неба.

ЛЮБОВЬ

Кучум подбежал, обнюхал Дымкину голову. И вдруг нежно, всем языком лизнул в кориичневый нос. И все засмеялись: «Любо-о-овь!» А Кучум просто слизнул крупинку пшённой каши, оставшуюся у Дымки на носу после утреннего кормления.

Я умилился, наблюдая за этой сценой. Но и вздохнул: нет в любви бескорыстия, всё время что-то

нужно любящему за его любовь. Ведь только для красного словца брошено: «Мне всё равно: ты любишь или нет!» А на поверку-то не едино, и это легче всего доказать, условившись, что не было на носу у Дымки никакой каши, или припомнив, как часто мы сами любим и ничего не просим взамен, даже малого ответного участия.

Вспомнились «Печки-ла-вочки», слова Ивана:

– Пойдут дети в школу, станут проходить море, а они уж там были! Скажут: нас папка маленькими возил...

И ещё – его рассказ о поездке с отцом в Берёзовку...

А я вот тоже запомнил из раннего детства: пошли с отцом на берег весенней Лены, стали кидать

камни в звенящий, осыпающийся стеклянными иглами лёд, который сломало и понесло. Вернулись домой – я первым делом расхлестнул стекло в сарайчике (вообразив, что это тоже – лёд). Отец взял шнур от сгоревшего кипятильника, положил границу между поэзией и прозой. Так что и теперь, сидя по многу часов за столом, я всегда помню, где эта граница.

ОДИН АПРЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

Очень быстро в апреле плывут облака. Едвахватишь фотообъективом какое-нибудь одно, как оно уже за лесом! И потому, наверное, сильнее желание описать, какие они – апрельские облака, как много в них огня и света, и сколь невыразимо стелются кучевой зыбью над деревенским выгоном, а чья-нибудь отощавшая за зиму корова стоит, как тысячу лет назад, против солнца, и – синие, фосфоресцирующие! – облака отражаются в её влажных глазах цвета застывающего студня.

И ты стоишь неподалёку, подняв к небу лицо, и тоже палишь бельма. И нет конца восхищению: древний тёмный ельник... мокрые разводы под рыхлым снегом... толстый бледно-голубой лёд в старнице Казарихи... струя её цементного цвета... а по берегам белые, насквозь светящиеся вербы, девичьи рдеют пунцовыми молодыми веточками на фоне обсохших косягов с зевластыми вымоинами под крутым обрывом... И над всем этим – и над тобой, замершим с кепкой в руке на краю, – вечное движение облаков!

И комок не комок, кадык не кадык, но сердце подступает к горлу. Да вот беда: нет у тебя ни слов, ни красок животворить этот апрельский день с облаками. Разве что полоснуть по жилам, смешать кровь и чернила, натрусить дымного пороха и поджечь, подживляя прутиком, чтоб шибче горело.

И неизвестно, что там в этот момент делается в твоих глазах, но на душе тогда свежо и ветрено, и пахнет глиной, отволгшей ольхой и дымом.

И сам собой вспоминается из детства такой же апрельский день, когда после субботней стирки мама опростала с крыльца полнёхонькую шайку. А ты гулял по двору в резиновых сапожках, но ахнул и остолбенел, с восторгом наблюдая, как окружает молочно-сизая пена, искрясь фиолетовыми плёночками и золотом надувающихся пузырей. И течёт дальше, прожигая снег, обнажая щепки от дров и сосновые коринки. И коринки на глазах делаются тёмно-красными, контрастными на общем пейзаже, но от этого лишь родней, несравненной, словно не дворовый сор вынесло из-под снега,

а из тебя вымыло что-то самое сокровенное, душу саму, и она, как это апрельское облако, вознеслась над тобой и навсегда очаровала.

И вот сколько лет миновало с тех давних сказочных пор, а ты всё так же стоишь и боишься очнуться от этого чуда.

ПОЛОВОДЬЕ

К маю отъело берега. Тряхнуло, проволокло метров триста – и зарочило возле Борисовской протоки. У нас говорят: «Лена трогалась!»

Разломало и понесло после обеда в воскресенье. Вода немного прибыла, лёд выбросило на берег.

Вчера и позавчера шёл снег, то редко, то густо. И было холодно, старухи опять надели суконные боты. При такой погоде, когда молчат ручьи, обошлось бы малой водой. Но в одну из ночей взбучило. Затопило дорожный перешеек между Казарками и Подымахино – только перила деревянного моста видать.

Наняли от сельсовета лодочника. Тот несколько дней перевозил детей – в школу и обратно, а в другое время ставил сети. А затем так же быстро река стала убывать, будто выдернули пробку. И

как-то наутро сети вместе с рыбой висели на кустах. Видимо, в низовьях закупорило, а впоследствии прорвало, или разбомбили отряды МЧС.

Проводили воду – и сразу светло, ясно в небе. На берегу кое-где – чёрточки удилищ. Уток редкие табунки и выстрелы – тоже редкие и оттого неожиданные. Прожужжала первая моторка, развалив реку серебряной бороздой. И старухи наконец-то сняли боты. Тучи – тёмно-синие по центру, с краёв – как раскалённое в печи железо. Под угором лежат намытые в несколько параллельных гребней щепки, ветки, пучки травы и прочих сор. Качается на мели пустая стеклянная бутылка. Этикетка уже размокла и сползла, и бутылка первое время, пока не заилится, особенно чисто сверкает на солнце.

У ВЕЧНОЙ РЕКИ

1

Тама-ка эту самоходку – ...
– Не видать?
– Бабку Веру-то?
– Но-о!
– На почту пошла...
– От египетская туристка!

Сам сидит: чуб задран, вид варначий, в зубах – самодельный

мундштук из приплюснутой алюминевой трубочки. Брюки заправлены в носки! Глаза – ласковы и голубы. Смотрят на вспученную щелястую Лену и слезятся без ветра. Губы – как лёд на реке – иссиня. Не иначе, на смерть...

2

Вода открылась – и умер. Повезли с подвязанным

ртом – с одного берега на другой. Их два у вечной реки.

Мы сидели с Викой на полу, вытряхнув из коробки пластмассовые кубики. Это – азбука. Каждый кубик раскрашен. На одном какая-нибудь зверушка, на другом – игрушка, на третьем – фрукт или овощ. Я выбирал кубик на своё усмотрение и, обращая к Вике картинку, спрашивал:

– Какая буква?

Если была изображена собака, то Вика, зная эту букву, отвечала: «Эс!» Если заяц, наставляла над головой ладошки: «Зэ!» А когда попадался арбуз: «А-а!»...

А вот букву с красивым именем «эль», которую обозначал не менее красивый белый лебедь, Вика никак не могла запомнить. Я раз за разом поднимал кубик с лебедем, но Вика лишь беспомощно смотрела на меня, как бы говоря: «Ну не по душе мне эта буква, давай другую!»

Так у нас и повелось: все буквы Вика выучила назубок, но при виде лебеда опускала глаза, словно собиралась заплакать.

Однажды смотрели телевизор.

Шёл документальный фильм о природе. На экране, вернее, на голубом озере, плавал белый лебедь-кликун. Известно, что лебединые пары образуются на всю жизнь. Гнездо из тростника и других растений лебеди строят у воды, и пока самка высидит яйца, самец охраняет свою подругу и будущее потомство. Птенцы, появляясь на свет, живут с родителями больше года. Лебедь-кликун, как и его собрат – тундровый лебедь, внесён в Красную книгу России...

Однако ничего из того увлекательного, о чём рассказывал голос за кадром, Вика и слушать не хотела. Её занимало что-то другое. Что именно, Вика не говорила, а может, и сама ещё не понимала.

Назавтра пошли на берег Лены – кидать камни в воду. И надо такому случиться, что над рекой как раз летела пара лебедей – белых, как эти весенние льдины! И только тогда Викино лицо озарилось, и она радостно закричала:

– Какая буква?!

СТЕРЕГУТ ЛЕНУ

Подкралась за ночь к верхней тётке, залилась по взвозу и опоясала школьную ограду, наполнив водоотводную канаву за складами. Два раза туда и обратно пролетел вертолёт, замедляясь над посёлком, чтобы сделать аэросъёмку и отследить, насколько меняется положение и в какую сторону. Когда зависает над тайгой – деревья мечутся, раздуваясь воронкой, и клопочут на ветру, словно куски щёлка или атласа, а если над Леной – вода за-

ходит в судорогах, бежит-бежит, напластываясь, и, наконец, раздвигается глубокой чёрной ямой с хлопьями взбитой пены по кругу. Ну а когда над посёлком – кладают стёкла, вихрится пыль, гоняются в воздухе конфетные фантики и прошлогодние тополиные листья, мужики выходят за калитку и школьники срываются с уроков, и того гляди взвинтит шапку...

С вечера дежурят на угоре, в основном жители береговых улиц, – стерегут Лену. Картошку уже

вынули из подполья, подняли на чердак или вывезли к родственникам, живущим в безопасном удалении от реки. Паспорта, другие документы – в нагрудных карманах или дома на высоком видном месте. Мебель не трогают («Рухлядь не жалко!») Жалко домá: просуши попробуй!.. Жгут всю ночь костры (яркие рыжие пятна в реке, снопы искр, металлический блеск воды, мерцание склизкой коряги, трепет: «А если утопленник?!») Сидят на лавочках, на табуретках. Разговаривают. Иногда – смеются. Варят чай в закопчённом ведре. Греются, держа кружки обеими руками. Дуют на чай (в кружках судороги, как будто тоже завис маленький вертолётчик). Одеты во всё тёплое: шапки, телогрейки, галоши с вставным чулком или «дутыши» на вате. Варежки ещё – на руках у женщин. Днём – варежек нет, а мужики растёгивают телогрейки. И костры уже не горят – курятся. Дым стелется над рекой, и есть в этом что-то горькое, детское, с дырявыми карманами в демисезонном пальто... О вертолёте говорят:

– Полетел низовья бомбить!

К обеду особенно людно. Идут и идут, даже с тех улиц, которым при любом раскладе ничего не грозит. Как вахту несут: одни пришли – другие сменились. И так весь день. Стерегут Лену. Она заметно прибыла, шагнула на метр-другой: это солнце пригрело, а в распадках ещё лежит снег...

Обычный пункт сбора – возле школы. Мужики стоят – навалясь на штакетник, шапки воздев на макушки. Некоторые – в броднях, закатанных под коленами: или с рыбалки вернулись, или снарядились уток погонять. Курят (спички, окурки пшикают, затухая в воде). Прислушиваются: заиграл ли ру-

чей за рекой? Если заиграл, «заиграли» распадки – значит, вода поднимется ещё.

– А она поднимется, к гадалке не ходи, – рассуждают грамотно и просто, не исключая худшие прогнозы. – Зажмёт где-нибудь возле Ленска, опять мы поплывём. Я своей так и сказал: привязывай кастрюли...

Но от реки шумно, и заиграл, нет ли ручей – не слышно. Слышно трескотню баб – они сплылись в стайку и гогочут без умолку. Судачат: кто что знает или слышал краем уха, и что было написано в районной газете о возможном подтоплении, и какую компенсацию ждать, если вправду «поплывут». И всегда найдётся самая сведущая, в мужниной рабочей куртке и с восторженным ужасом в глазах:

– Позвонили с города, предупредили: вал идёт! До девяти метров!

– Сколь-сколь, Дуся?! – со всех сторон.

– До девяти...

Как горячей головнёй обнесёт! И вот – вздрогнули, завозились и то в кучку сожмутся, то шараятся врозь. Кряквы да кряквы! Да и в тебе что-то обомлеет, заглядится в страшную тёмную воду и прошепчет спёкшимися губами: «До девяти метров!»

Надо идти готовиться, но никто не уходит. Стоят, ждут этого вала. Этих девяти. У женщин – надлом в голосах и ладони у рта, у мужиков – лбы наморщены и бродни расправлены. Моторки все дни на воде. Мужики время от времени подрабатывают резиновой «грушей», с матом раскоचेгаривая свои «Вихри» и «Ветерки», чтоб осмотреть сети или сбуксировать на дрова плывущую деревину, и когда лодка с рёвом рассекает

воду, смог от заведённого мотора ещё стоит на одном месте рваным кустом...

Ребятишки собрали тетрадки-учебники и обосновались на чердаке. Свесив ноги, смотрят вокруг, на огромную живую воду и лодку, которая медленно увлекает длинный тяжёлый карандаш. «Вон папка! Папка!» – кричат матерям, и те привычно сердятся: «Вы там сильно не лазьте!» На ночь их разводят по знакомым, дальше от воды. А сами остаются – стерегут реку. И когда затопит очередную вешку, слизнёт на всю длину цепей примкнутые лодки, какая-нибудь сердобольная женщина обязательно скажет:

– Ну, матушка, красавица наша! Попугала – и хватит, пожалей нас! – И никто не посмеётся,

как в другой раз. Наоборот, ожи-вёт в памяти почти иконный об-раз старухи, матери или бабушки, которая вот так же, на пару с му-жем, подтаскивала просмолённый стружок и жалобила реку, кидая ей хлебные кусочки.

...И снова всю ночь горят ко-стры по угору, на который вот-вот взойдёт вода, а утром висит над посёлком вертолёт! Как в детстве, верится, что сейчас размотается верёвочная лестница, спустится добрый волшебник, взмахнёт палочкой – и вода, послушная, убе-рётся восвояси. Но лестница всё не появляется, и ребятишки, по-сле уроков прибежав к своим, по сговору прыгают на одной ноге и дразнятся:

– Вертолёт, вертолёт! Ты возьми меня в полёт!..

И ВЕК СПУСТЯ

Всё хмурь в небе, ледяной ветер, а под вечер дождь – косой, сильный! Не проходит и не-скольких минут – всюду лужи, крас-новатые, как настой кедровой коры.

Выйдешь наутро: раскваси-лись поля и огороды, зачавкали под сапогом свиньи мордами. В лесу намокла и перестала шуршать старая осенняя листва, почернели ёлки и пихты, мерцают капли на ветвях. Но змеино-шипящих ру-чьев нет: податлива весенняя зем-ля, и даже проливной дождь про-сачивается в неё глубоко.

К обеду и вовсе сухо. Деревен-ские копошатся в палисадниках, счёсывая граблями лохмы про-шлогодней травы, а в школе моют парадное крыльцо и белят улич-ные колонны.

А уж вечер, как подарок, – яс-ный и тёплый. Ветра нет. На го-ризонте что-то нежное, розовое,

вроде земляничного мороженого. Чутко. Тихо. Иногда – резкий ту-гой хлопок, словно взорвалась бу-мажная хлопушка...

Это подростки, голые по пояс, играют в футбол на стадионе. И не более века отделяет их от свер-стников, которые вот так же реза-лись до темноты, гоняя за околицей грязный колобок из драного башмака и тряпок, а если били штрафной – сначала плевали на него, цедя изо рта много и долго, да потешались над вратарём, за-стывшим в скотных воротах с на-мерением не пропустить даже муху, да орали молодыми лужёны-ми глотками, когда тот сгребал на лету всё равно что перехваченную гранату:

– Фу-у, чу-ух-ха-ан засиф-фа-аченный!

Не те ли отзвучавшие голоса я слышу в этот вечер? Не далёкие ли

и неизвестные мне жизни аукнулись в теперешних пацанах, липких от пота? Не мои ли это предки вернулись из войн, революций, мора и лагерей, оправились, как травинки после дождя, и снова зазеленели под солнцем, будто и не

знали ещё красного заката, а был в их жизни только рассвет? А коль скоро это всё они, милые мне русские люди, и если мы никогда и никуда не уходим, как нас ни провозжай, нас ли пугать забвением и смертью?..

В ДЕТСТВЕ

1

Солнце горело ярче, на тополях светился первый пух.

Мама стирала во дворе, в воздухе над тазом кружились мыльные пузыри, как маленькие синие галактики.

Ты вошёл, дружок, в страну знаний.

Вычитать и умножать, малышей не обижать.

Без сопливых гололёд.

Бутерброды в школьной столо-

вой ели, сдвигая колбасу от зубов по непропорционально большому куску хлеба, глотая слюни, отсрочивая праздник.

Лето – самые длинные каникулы.

Ходили в чахлый березняк на болоте, искали диких голубей, а промазав из лука, бежали за стрелой, возвращались с холодными лягушками за пазухой.

Бабушка и дедушка были живы...

2

Первый снег – как мокрая салфетка: идёшь, отрывая кусками.

Первые стихи прячешь под подушкой.

Первые боли ни от кого не прячешь.

Первую кровь – прощаешь на завтра.

Печаль светла.

Простота бесконечна.

На губах – пятно от шоколада фабрики «Красный Октябрь» и любимой девочки имя.

Всё твоё лежит под новогодней ёлкой.

Дворовый коммунизм – складчина.

Часов не замечаешь.

И в смерть не веришь...

ПО СЛЕДУ ОРДЫ

Я шёл через молодой и солнечный, но уже обезображенный и униженный лес, по красному от разорванной глины и всё разрушившему на своей дороге тракторному следу, как за промчавшей по Руси Ордой. Вот-

вот она прошла – с гиками и свистом, с топотом копыт и нахрапом нагаек, опустошая селения, заливая их кровью, насилуя женщин и уводя за волосы в полон, детей и непокорных – убивая, а над стариками и беззащитными потешаясь

злобно и неумно. И одна мысль не шла у меня из головы, поработавшая на своём пути другие мысли, пока я не сразил её карандашной стрелой и не поднял на бумажный щит:

ЧТО ПРЕТИТ ИМЕЮЩЕМУ
ВЛАСТЬ НЕ ГЛУМИТЬСЯ НАД
ВЛАСТЬ НЕИМУЩИМИ, А ЧЕ-
ЛОВЕКУ НА КОЛЁСАХ – СВЕР-
НУТЬ В СТОРОНУ ПЕРЕД МО-
ЛОДЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ?

РЫБЫ

Пока бросаешь – все здесь, сплываются на хлебный мякиш. Перестал бросать – и нет ни одной. Или, может быть, это тебя для них больше нет, а сами-то они как были, так и остались, и потому только не сплываются, что не бросаешь?

И тоже: вся надобность в тебе – разве что в этом хлебе! Но и у тебя надобность – в этих рыбах.

И модель вашего союза – тебя, бросающего корм, и рыб, на него сплывающихся, – легко можно перенести на взаимоотношения писателя и читателей, актёра и зрителей, музыканта и слушателей, во всех трёх парадигмах, если и объединённых между собой какой-либо внутренней связью, так это знаменателем такого тратающегося понятия, как жизнь автора.

ПОЧИЩЕ ЛЖИ

Мелкий и дождливый, ночь напролёт. Мягкое «шу-шу» – на крыше, «тук-тук» – с жёлоба в днище опрокинутой бочки, которую забыли перевернуть. Окно в комнате открыто, и хорошо слышно и видно, как по свежей сверкающей грязи едут запоздавшие машины. Побрызжут фарами – метнутся два золотых луча...

Под утро перестал. Обсыхают крыши и заборы. Над посёлком – рваное, белое, в виде потянутой ваты. Но и просинилось кое-где, раз-другой выглянуло солнышко: дескать, как вы тут без меня, земляне? Не отсырели в непогоду? Не отчаялись во мраке?..

Пробовал, как старик из повести «У самого синего моря...», отчерпать из бочки пшенично-жёлтые хлопья цвета, который натрусило с рябин. Не получилось. Вообще – недостижимо это! Рассла-

иваются на частицы, чуть коснись. Стало быть, соврал, когда писал. И так мы чаще всего приблизительно в словах, притом что найдём и убийственно точные, задайся целью уязвить кого-то в самое сердце, и эта наша избирательная меткость паче гордыни, а небрежение правдой почище лжи.

...К вечеру всё стало ясным, а небо – голубым! И только над зелёной кромкой тайги – дымка. Обволакивает горизонт, разъедает черты. Поэтому у леса, например, нет резкости, предметности, словно рисовал его современный мазила, которому лишь бы самовыразиться. Поставил мольберт, плеснул краску, капнул другую – и смёл накось...

– Где-то чё-то горит! – выражаются у нас по поводу этой дымки, отмахиваясь от мошки сломанными ветками черёмухи.

ПРОСТЫЕ ЛЮДИ

Миха Шмурак – горластый запойный мужичок – переплыл в лодке на ту сторону Лены. Горбовик при нём. Два ведра. Собака. Баба. Расправил бродни, перебрёл заводь за галечной косой. Бросил ведра и горбовик, вернулся за бабой. Взлезла на горб, поехали тихой под водой.

– Ништяк?! – любопытствует Миха.

– Ништя-як! – успокаивает баба.

Оба – уже с утра «весёлые», оборванные жизнью, о её железные зубы. Миха – отсидевший за убийство собутыльника, которому стёр лицо кирпичом. Также о нём болтают, что опоил и утопил в реке Саню Белого. Она – хромоногая и страшная, губы – как синюшное мясо. Волосы мочалкой. Не идёт – чепается (как если бы шла по мху на длинных каблучках). Высватал в городе, куда его таскало в один из загулов. Живут в благоустроенной трёшке рядом с котельной, вместе с Михиной престарелой матерью. Вяжут носки-варежки, сбывают за курево и водку. Кроме того, Миха, набравшийся в лагере уму-разуму, чинит пенсионерам телевизоры и подшивает валенки морозостойкой резиной. Но главное в нём другое, а именно, умение рисовать. Это у него с детства, годы отсидки лишь развили безусловный талант. Пишет незатейливые картины: небо, река, кораблик. Лес. Крест на углу. Всё – грустное, чуткое, нежное. Но чаще обходится шабашкой вроде покраски заборов или подновления табличек на бесхоз-

ных могилах. Напиваясь, Миха орёт на весь посёлок: «Богома-азя! Богома-а-аз!» Почему богомаз, не объясняет. Хотя кое-кто свидетельствует, что вместе с другими лагерными Миха участвовал в строительстве православного храма...

И так-то вот, таким-то незамысловатым способом они переправлялись через лягушатник, громко разговаривая между собой. А я стоял в школьной ограде, под синим куполом цветущей сирени, и переживал, что Миха споткнётся и чебурахнется вместе с бабой. Но и когда благополучно перебрали, всё не уходил, наблюдая за тем, как после короткого отдыха на берегу они поднимаются по косогору в лес. И чего-то радовался этим людям, тому, что вот пошли по грибы, ранние в нынешнее лето, первый слой, и Миха перевёз свою любовь на горбушке, и что белая, как патлы убитого им Сани, собачонка убегает по тропинке, а Миха, вылупив глаза, истерично кричит ей:

– Ты чё, рамсы попутала?! Тут же везде отморозки косолапые... Прячься за Люську!

...Простое житейское счастье простых грешных людей, их умение – или смутно осознаваемое желание – жить невеликой жизнью с её грубыми земными праздниками, их способность не задирать нос и довольствоваться малым, их – получается – нравственное смирение, их природная скромность в быту при всём его уродстве и при всей нашей мирской грязи – вот что ещё влечёт и вдохновляет меня в человеке.

Горбатая, почти обезножившая старуха-хохлушка, мать Миши Шмурака, в прошлом – известная во всём районе доярка. Сидит средь бела дня на пыльном крыльце сельсовета, держится обеими руками за палку, уткнутую острым концом в щель тротуара. И тихо плачет, слушая главного поселкового начальника. К нему бабка Лида пришкандыбала жаловаться на сына: Миша, продав грибы, загулял и погнался за матерью с ножом.

– У-част-ко-вый при-е-дет толь-ко зав-тра! – по слогам, как маленькой, говорит начальник. – Вам, Лидия Андреевна, есть где переночевать?..

Бабка Лида будто не слышит.

Ду-ша-а боли-и-ит, а се-ердце пла-а-ачет!..

Его останавливают: женщины – совесть, мужики – пугая старшим братом, который «приедет из города и все воздуха тебе, дураку, поотбивает!» Но Миша и слушать не желает, баб игнорирует из принципа, а мужикам сообщает, имея в виду грядущую разборку с братом:

Смотрит с надеждой, воспаряющей от крыльца к человеку. Ищет участия к своему положению, но и когда человек уходит, сидит, ждёт. Ругает ноги, которые отказались её носить (а то бы и горя не знала!) Просом просит. На всякий случай шевелит одной, другой. Не слушаются! Плачет, размазывая кулаком. Не хочет верить, что никто не способен ей помочь, даже собственные ноги. А участковый милиционер приедет только завтра...

А Миша – в вельветовой куртке, подвёрнутых броднях и трикотажной «пидорке», с которой не расстанется даже летом, – идёт спустя какое-то время по улице и поёт блатной шлягер своей молодости:

– Да я его нахрапом задавлю!

...К вечеру бабка Лида куда-то уползла; может быть, к соседям. И как же она, которая насилу передвигает ноги, «убегала» от пьяного Миши, когда он с ножом в руке «гонялся» за ней?

Вот тебе и простые люди, простое земное счастье.

МОНЕТКА

И приходит час: ломается что-то в тебе, в природе, и хотя последующие дни всё ещё красны, нет в них бывшего великолепия, а то, что есть, суть жалость к себе и тоска по уходящей жизни. Нынче ещё благодать, светит солнце и акварельно синееет воздух, небо над этим берегом Лены в редких клубящихся облаках, а над тем и вовсе чистое, голубое,

но тени облаков с этого берега уже достегают и до противоположного и лежат на тамошнем диком угоре дышащими копиями, и много в этом глубокого значения и смысла.

Назавтра дует сквозной ветер, морщит дождливую наволочь над посёлком и свинцовую рябь в реке, и в тайге за Леной с самого утра надрывно кричит кедровка. Идёшь со свежим хлебом из магазина – на

крышу соседнего дома реденько, пробно сыплются с тополей первые, уже пожелтелые листья, притом что на дворе только середина июля. В тусклости ненастного позднего утра как никогда печально это неприметное для мира падение. Всякий раз чудится, что с каждым упавшим листом что-то истончается в родном, милом, бесконечно дорогом, словно из тебя норовят вырвать побольней, как доску из забора.

И хочется, невозможно мечтается сделать что-нибудь доброе для людей! Написать, например, всем нужный рассказ. Или, как в

детстве, найти на дороге волшебную монетку, не затем, что так уж деньги нужны, а чтобы – как в детстве, чтобы – для людей. Чтобы, выгнутая умиранием, не крошилась так грустно эта ранняя листва под ногами, а вывернув душу, как карман, смог положить на лобное место пусть не книжку, но какой-либо иной знак того, что ты жил, любя эту землю и этих людей, и на прощание если для чего и оставил свидетельство своей любви, то уж, конечно, не в память о себе, а в благодарность за годы, прожитые рядом.

ОТКРОВЕНИЕ

Вдушный летний день опустился на колени перед кедровым выворотнем, поверх которого уже вырос мох и расплескалась красным полымем брусника. Припал к родниковой лужице, стараясь не потревожить лежавшие на дне листья, хвою и прочий лесной отсев, накопившийся не за одну осень. Пил. И вместе с тем, как вода глоток за глотком заливалась в меня, забывались мои судорожные блуждания по тайге в поисках питья, и по-другому высвечивалась моя одинокая, заплутавшая от тропинки к тропинке, от черновика к черновику, от сердца к сердцу писательская жизнь. И чем утоление было ближе, тем несомненной становилась давняя, в чём-то наивная и уж, конечно, не новая мысль

о том, что и откровение в творчестве – вроде родничка в сухом летнем лесу. Долго, с горькими лишениями ищешь, натываясь на тычки, плевки, ревность, зависть, глухое молчание и всё то, что ниспослано тебе за право владеть талантом. Наконец, видишь неясный просвет. Идёшь, как сквозь чащу или бурелом. И уже там, откуда светило и где вправду светло, много-много пьёшь, подозревая, что отпущено, может быть, с макову росинку, но радуясь и этой мере и не боясь осушить её в один присест. Бывает, переусердствуешь и взболтнёшь, а после ждёшь, когда осядут самолюбование, гордыня и подобная утробная гниль. Потому что грязная лужа отстоится, а плохая книга – никогда.

«И БЕЗДНЫ МРАЧНОЙ НА КРАЮ...»

Читаешь ли классику, слушаешь ли рассказы стариков – всегда это мучительное чувство горечи: какие люди были! Не то что нынешнее племя! Смелчал народ.

Схудал. Одни глаза остались...

И ты, конечно, не стоял в стороне и вместе со своим народом – смелчал и против тех, вчерашних писателей, уже не составишь силу.

Всё это так. Всё это – правда. Не объедешь. Не сдвинешь.

И тем не менее вот ещё о чём я думаю: да – смельчал народ! Да – схудал! Да – только глаза остались! Да – о тех, былинных, теперь знаешь разве что по книжкам и рассказам стариков! Но зато и счастливо совпало в твоей жизни – увидеть народ в смуте, когда самим временем, на бурлящих порогах истории этот народ испытывало, измалывало, измывало, источив основу, но и вымыв корни. И можно, конечно, натянуть очки и брюзжать: дескать, многое прошляпили... выродился народишка... Федот, да не тот!.. А лучше

пошурупить мозгами и понять, чем народ стоит, несмотря ни на какие жернова, медные трубы и гидротурбины прогресса.

А ещё то важно, что в этот трагический для твоего народа момент сам ты был юн и открыт, корнями наружу, и боль и любовь, крик и молчание, печаль и чаяния своего народа предельно остро воспринял обнажённой душой. И вы всё равно что схлестнулись, сплелись всеми вашими корнями, а поверх выросла крепкая заболонь, и в каждую щёлку затекла целебная смолка, спаяла навеки, так что вас уже не разорвать, а если и разорвать – трещина пройдёт сбоку, а не между.

РОДИНА

По ту сторону Лены – валы. Тянутся лентой вдоль реки. Когда-то лес на угоре свели под пашню. Годную древесину свезли на строительство, а пни, вершинник и прочий хлам столкали тракторами в один ряд, под сопку, как бы очертив границу, за которую отступила тайга. Со временем всё это высохло. Издряхло. Обросло кустами шиповника, малины, смородины. Между светятся алым лепестки иван-чая. От них такая печаль на сердце, как будто прямо сейчас упадёшь, и тебя поднимут на руки, отнесут и положат в дикую траву, под это низкое небо, а когда вернуться с подводой, тебя уже там не будет, даже следа не найдут...

А на дворе август. Пospела ягода. Из деревни на валы идут с ведрами в руках и горбовиками за спиной. Мужики, бабы, дети. Из тайги – медведи. От деревенских – пестрота разноцветных пластиковых вёдер и шум. От медведей – ископанные муравейники и намятые в кустах поляны. От тех и дру-

гих – тропы. Всё утро в молодом осиннике рядом с валами злобно тьякает «звонок» – маленькая домашняя собачонка, которую кто-то взял с собой. Кто там – человек или медведь – неизвестно. Да это и неважно. Никто не обращает внимания. Дядя Коля-бабки-Варин сидит на колоде и рвёт рясную красную смородину прямо в горбовик, подсыпая листьев, чтобы досадить старухе, которой предстоит обдуть на противне и катать по ягодке утиным пёрышком. Проходишь мимо в сторону лая – с самым серьёзным видом напутствует:

– Поднимешь мохнорылого – гони на баб или на сенокосчиков!

...Кто-то скажет, что о чём-то таком писали тысячу раз и что ничего в этом нет. Да, наверное. И писали, и ничего нет. Всё это так. Но бывает у русского в жизни, когда всё – впервые, ибо впервые – до слёз. Тогда увидишь иван-чай на месте вековой тайги – и многое узнаешь о жизни, о смерти, о наших стараниях. А услышишь родное словеч-

ко – и полюбишь свой народ, словно встретились на узкой тропинке. И вот уже небо не столько низкое, сколько близкое, и смородина, как встарь, рифмуется с Родиной, и рифма ничуть не истрёпанная, западает в душу и горит, как эти красные ягоды на валах по ту сторону Лены, по эту сторону Леты. Отныне, если даже и упадёшь, всё это с

кем-нибудь опять повторится, как и до тебя повторялось не раз! Пусть и следа твоего не останется, но будет жить эта печаль, а с нею и русский человек. И собака, как прежде, будет лаять в осиннике, и не ты, кто-то другой пойдёт на её лай, но вдруг остановится и поймёт, что всё это когда-то происходило. И улыбнётся, покусывая горькую травинку.

КРАТКИЙ РОМАН

...**Б**ыла чуть выше, более всего – встав на каблуки. Любовалась собой, идущей над. Плывущей поверх моей коротко стриженной. И там, на крыльце, когда заворотил, – змеёй взвилась, оплела, ртом, языком жалящим настигла, впилась и не пускала, пока дядя Вася не зажжёт свет и не буркнул из сеней: «Ну вы чё тут, мышей ловите?!...»

...Любил, когда кормила из рук, сидя за спиной и обжав тонкими, как у кузнечихи, коленями. Голову кладя на плечо. Поднося к губам сочащиеся арбузные нарезки и командуя: «Скажи “а-ам”!» И не было прекрасней удовольствия, чем забирать ртом эти красивые смуглые пальцы, ссасывая сладкие капли. Целовать подушечки, ногти, ласково царапать зубами. Смущать: «А теперь – где?...» – и самому смущаться её босым великолепьем, сняв, как шкурку с омуля, золотистый чулок.

...Всё в ней точно соединялось металлической спицей в узле её каштановых. Казалось: выдерни, как вилы из сена, – рассыплется воздушным, чутким, летним, и ветром ответ всё ненужное. Повалится в руки всеми своими распущенными. Позвонками девчачьими, птичьими. Стекольным холодом кожи. И всякий раз требо-

вательно отстранялась, стыдливо застёгивалась, заведя руки между лопаток. Сидела волчонком, ершась и щерясь: «Ничё-ё!...»

...В тот вечер слушали музыку, как волшебной ниткой, соединённые маленькими наушниками, одними на двоих. Неожиданно сколупнула свой динамик из уха. Стряхнула босоножки. Одну, другую. Залезла с ногами на кровать. И стало слышно, как в кнопочке, свисшей на проводке, томясь и тесня друг друга, толкаются далёкие голоса.

– Я – сама... – когда поднырнул, вздел её светло-зелёное и долго, щедро поцеловал в загорелую, с пушком, шелковистую кожу с внутренней стороны бедра, затем – в сетчатую полупрозрачную ткань, запавшую волнующей чёрточкой. И сама, действительно, выгнулась, скомкала быстрым движением, отщипнув большими пальцами обеих рук, и, словно бабочка крылья, разложила поджатые в коленях ноги.

...Лежали потом, пустые и усталые. Налипнув друг к другу влажной кожей, как две скошенные по росе травинки. Головами дышащими склоняясь. Засыпая. Себя забывая...

Обманываясь тем, что это – навсегда.

Плавали с Жекой Симоненко в Малиново – ловить щук. Лодку брали у тётки Раи Логиновой, которая и по сей день живёт на Береговой. Лодка была дырявой, мы с Жекой попеременно гребли или консервной банкой отчерпывали воду, и Жека с восторгом орал:

– Как в дуршлаг!

...Было нам тринадцать-четырнадцать. Спиннинги у нас были ещё советские, с поточенными пропускными кольцами, сквозь которые протекли многие километры лески. Расхлябанные инерционные катушки сбились, клинили в самый неподходящий момент и делали «бороду», как у нашего трудовика. Сама леска была толстой и грубой – легендарная «Клинская», не единожды, после бесплодных попыток её распутать, перебитая камнем, а от этого вся в узелках, как провод телефонной связи на поле боя. Увенчивали наши спиннинги внушительные медные или латунные блёсны из покупных наборов «Рыбалов-любитель». Тяжесть материала давала то преимущество, что даже в ветреную погоду блёсны не парусили при забросе; правда, при этом рыскали у дна и частенько цеплялись

за камни и коряги. А щук в Малиново было столько, что редко мы возвращались берегом Лены без самодельных куканов из талиновых рогулек. На такие мы обычно снизывали травянок – небольших молодых щук, а то и взрослых крупных с зубами-шильями и жабрами, как бритвы. Щуки, пока мы шли к лодке, блёкли на вечернем солнце и усыхали, отчего выглядели меньше, чем были на самом деле. Но всё равно с паромы, перевозившего доярок, нам кричали:

– Куда рыбу деёте, рыбаки?!

Малиново на правом берегу, и в те годы на тамошнем угоре стояла летняя ферма, куда в начале июня переправляли часть совхозного стада, чтобы осенью, с наступлением холодов, доставить обратно. Рядом с фермой в реке водились щуки гнёзда, все об этом знали, в том числе мы с Жекой. Только нам не было ведомо, почему щуки табунытся здесь, а не где-нибудь ещё. Но дядя Миша Чупров, у которого мы заимствовали вёсла, как-то объяснил, что скисшее молоко доярки выливают в Лену...

А Малиновым это место называли потому, что на буграх у леса много сладкой медвежьей ягоды.

За прошедшие десятилетия от Малиново сохранился лишь ориентир. Название забылось, хотя ягоды ещё полно, и летом ею лакомятся медведи, которых нередко видно из по-

сёлка. Фермы тоже нет. Но щуки, как заговорённые, скучиваются под тем же берегом...

Может быть, у рыб есть память и она длиннее, чем человеческая?

Нежданно-негаданно вспомнилось из школьной поры, как летом, во время каникул, рубил в тайге ловушки на соболя. И в корнях рослой ёлки вырыл какой-то старинной выплавки бутылку из толстого зелёного стекла. И всё встрепелулось: откуда она?! Записки в ней не было. Но в самом обнаружении бутылки было что-то мистическое, провиденциальное, как будто сама земля подсовывала некие приметы прежней жизни, какого-то давнишнего мира, и ты через эти предметы словно

прикоснулся к тому давнишнему миру, к той прежней жизни, в которой остались твои предки, откуда растут твои корни, может быть, вообще всё твоё, а прикоснувшись, услышал то, что земля говорила тебе этой бутылкой. И тогда очень согласно вошло ощущение первородной силы, скрепы, соединяющей века и поколения, памяти, зрящей сквозь плоть, языка, звучащего ныне и присно. И так же спокойно, ровно явилось понимание, что род человеческий бессмертен, пока живёт в тебе эта сила.

НА ДЕРЕВЕНСКОЙ УЛИЦЕ

Видел на днях отвратную, вувы, не столь и редкую сцену: ребёнок заигрался и не спросился на горшок. Неврастеничная мамаша сдёрнула с него колготки и выходила вдоль спины:

– Опять, зассыха несчастная?!

Грустно. Стыдно. И ребёнка жалко. Но с такой родительницы что взять? Ненамного младше меня, а мы всё равно что из разных детств. В моём на такой случай было другое слово, не унижающее маленького человека, – ополóбиться. То же, что и опорожниться, но – в штаны. Стать пóлым, пустым. Впрочем, чаще говорили «напрудить» – и смешно, и метко. А главное – необходимо! Можно сказать о ребёнке «напрудил» (в штаны, в постель), а можно и о взрослом:

– Шла давеча пьяная, сяла под избу бабки Елены, напрудила и пошуровала дальше... Но кобыла томская!

К сожалению, эти образные слова умирают с поколением моих бабушек и дедушек, находя лишь слабый отзвук в их детях. Только отзвук, который сам по себе бес-

плоден и не рождает полновесного отклика, звука. Но страшно не это, ведь со словами откальваются пядями родной земли и навсегда уплывают из-под ног тысячелетние смыслы, на которых стоим. Поэтому-то у иной современной мамы не заржавеет отмутузить ребёнка лишь за то, что с ним приключился детский грех. А всего-то тридцать лет назад бабушка моя Клара Михайловна Антипина подхватила бы под голый зад, усаживая на руку, подсластила бы твоё горе парой-другой посахаренных конфеток «Дунькина радость», да и засмеялась бы:

– Ну чё, прудень, опять ополоился?! А я как говрела: не бегай нагишом, застудишь сыкалку! Да ты разве баушку послушашь...

Качая на руках, стала бы припевать, объясняя, какой позор лежит на тебе:

– Мотоцикл-цикл-цикл всю дорогу сыкал-сыкал!..

И столько было в этом любви и нежности, словно подземный родничок забил на деревенской улице! Но почему-то одни напились всласть, а другие и губ не омочили.

Приехала в посёлок: синяя бейсболка с открытым верхом, синяя безрукавка, сумка на боку тоже синяя. Ходит по дворам, ведёт учёт сельскохозяйственных животных. Позвонила к одним – вышла разбитная бабёнка лет сорока.

– Да какое хозяйство?! – гово-

рит. – Мужик на вахте, сама едва управляюсь... Одна КРС¹ у меня!

Всё записала, постучалась в избу напротив. Открыла старуха Аксёнова.

– Да какое хозяйство?! – говорит. – Старик умер, сама едва ползаю, за заплот держусь... Одна коровушка у меня!

ЗА ХОЛЦОВЫЙ МЕХ

1

Мечтала выучиться на «фельшера» – «коровушек лечить». Потом своим ли хотением, по совету ли, но сделала поправку, наострилась в Киренское медучилище.

– Папа не пустил! Меньших-то надо было поднимать...

Зла не держала. Родителей называла только так: папа и мама.

...Пошла на жатву, на другую колхозную работу. В апреле – ещё по снегу – пилила в тайге швырок для пароходов («Чирки² примерзали к ногам!») Не всегда поспевала. Председатель грозился сослать на Соловки.

– Ну гляди, Павел Фёдырыч, не заглянет два солнца в оконце! – сказала тогда.

И точно: года не прошло, как сняли за перегибы.

...Вскоре устроилась избачом. Ездила в райцентр на конференцию культработников, повязывалась но-

вым плисовым платком для общего фото. Уже была семья: муж, четверо детей. Ходила пятым...

– Две печки топила – железную и кирпичную! Сама дрова колола-носила. В мороз – попробуй-ка!

...Год или два до выхода на пенсию мыла в сельсовете полы.

– Ни одной бумажки со стола не взяла! Сейфов от меня никто не закрывал, не было такой моды!

...А сейчас что бы ни стряслось – она одна крайняя. Как Наумов умер – с того и пошло.

– Гнут, как талинку! Пенсию мою забирают, да ишо командавают...

...Сегодня ссора произошла потому, что схаркнула на тротуар и растёрла галошей, а дочка увидела в окно.

– Прожила век за холщовый мех! В стужу без варежек ходила, а теперь в тепле мёрзну. Собралась бы и ушла, да к кому пойдёшь?..

2

Ночью старуха поднималась, выходила в сенцы, прикладывала к лицу капустный лист.

¹ КРС (аббрев.) – крупный рогатый скот.

² Швырок – дрова определённой длины, использовались в качестве топлива при обслуживании двигателей газогенераторного типа, в том числе на пароходах. Чирки – род крестьянской обуви из сыромятной кожи.

Бабушка рассказывала:

– На Заборье – бор. На бору бугры: на бугре брусника, под бугром – черника. Всё-ё дивились!

...После её смерти хотел написать: «С тобой, бабушка, ушли твои песни!» Но сам себя и осадил, вспомнив, что бабушка была из той породы сибирских старух, которые выговариваются не песнями, а устными народными рассказами. В них Лена-матушка заливалась по большой воде на кладбище, девки кричали: «Перевозу! Пере-

возу!», парни весело отвечали: «А где зимой были?!», и по лесной дорожке ехал чёрт на лошади, во тьме за стеной избушки горели жёлтые огоньки, ржала испуганная кобылица, старик Фока зажигал последнюю свечу и крестился, а на рассвете надевал йчиги, брал ружьё и уходил под Ношену гору...

Может быть, потому я и вырос писателем, что однажды бабушка склонилась надо мной, как будто само Русское Слово встало у моей колыбели.

ЧТО ВПЕРЕДИ?

Набрал из ручья – ледяной, стеклянной, с живыми песчинками на дне.

Одно время (в моём детстве) бежала по алюминиевой трубе. Началась лихорадка с цветными

металлами – по железной ржавой. А нынче и эту выворотили, увезли на «Вторчермет», и теперь струится по обломку шифера, оксидно-зелёному от тины...

Что ещё ждёт тебя, Россия?

ПЛУГ

Нашёл его в один из дней минувшего лета, когда искал грузди в перевесовских лесах за валами, за полями, за покосными лугами. Не сразу сообразил, как он очутился среди деревьев, каждому из которых не меньше тридцати лет. Да и кто бы мог предположить, что в недалёком прошлом на месте этого леса была пашня, туда-сюда ходили трактора, таскали плуги, бороны, сеялки. Однажды этот плуг отцепили прямо в поле, в конце борозды, – там, где становалась колхозная бригада. Наверное, планировали вскорости забрать. Или оставили до будущей весны, когда бригада снова придёт в эти дальние поля по ту сторону Лены. Но началась перестройка,

всё пошло кóсом – и не только брошенный плуг, но и страна стала никому не нужна. И вот стоит он в молодом лесу, как памятник государству, которого уже нет, а эти берёзы и осины – словно венки, возложенные к подножью...

Постоял рядом, приложив руку к забытому, ржавому, с некогда нашлифованными до зеркального блеска, а теперь потускневшими лемехами. Подумал о том скорбном, что выпало на долю русской пашни в конце двадцатого века. Набрался вековечной мужицкой силы, распахавшей здешнюю тайгу, поднявшей наши северные земли. Запомнил это отныне сокровенное и святое для меня место – и пошёл, чтобы писать свои книги и

однажды оставить карандаш в конце исписанного листа, как плуг на

пашне, и уйти в ту же землю, полную холода, льда, вечности.

ОДИН

Когда один в осеннем лесу, в котором много молчания и синей волчьей ягоды...

...или бредёшь бугристой пашней, поднятой ещё твоими предками, но с недавних пор заросшей бьельём и кустарником...

...продираешься ли некошеной луговиной, где столовались деревенские косари, а теперь в сваливающейся траве чернеют позвонки рухнувших шалашей...

...сидишь ли на пороге ветхой охотничьей избушки, чей хозяин жив ли...

...и если есть в этой избушке какие-нибудь особенно личные предметы, будь то расчёска, манок из заячьей кости или пожелтелая газета, которую до тебя читали неизвестные тебе люди...

...вообще, бывая там, где никого не встретишь и где самому раньше быть не доводилось...

...и если светит солнце, плывут облака, какие вот так же плыли за долго до твоего рождения, а то и до сотворения всего...

...то мысли твои светлы, как в юности, и вспоминаешь всего себя разом, с самого начала...

...и оттого неумолимым тоска расставания, а из сердца нейдёт мысль о том, что был здесь, видел и осязал это всё – в последний раз, и таким, как сегодня, уже никогда не будешь...

Так приходит понимание, что смерть есть, прежде всего, прощание с таким собой, каким ты был ещё вчера.

НАД ЛЕСНЫМ СКЛОНОМ

Ночью был шквальный ветер, скомкал и унёс последние листья. В лесу сразу развиднело, будто каждый куст, каждое дерево вычесали мелкой гребёнкой. Зато резче пни, корни, горелая валежина, пустое осиное гнездо на ольховой ветке.

...Когда спускался от заброшенной телевышки, длинной металлической мачтой вознёсшейся над тайгой, промазал в глухаря, который клевал гальку на дороге. Заметил его первым, выстрелил малокалиберным патрончиком с разрывной пулей. Шумно взбивая воздух, жирной чёрной кляксой сорвался и утянул под покать, где брусничник и сквозной осинник на месте давних лесосек. А когда

я бросился вдогон и посмотрел вниз, ожидая, что пойдёт юзом и с кудахтаньем упадёт, увидел за деревьями, под сопкой, спичечные коробушки домов и стеклянную полосу светлой осенней Лены с плывущим танкером...

И тогда всё смешалось: печаль и радость, боль и любовь, одиночество и страстное желание живой души рядом, восторг жизни и боязнь ранней смерти! И кто-то тот, кто прежде жалел, берёт от особенно сильных потрясений, теперь словно проехал с опущенным плугом, распотрошив душу и разрушив всю корневую систему, но зато и отвалив драгоценный пласт.

ЖЁЛТЫЙ СВЕТ

Снежит. Дует холодный ветер. Поздно. Собаки в будках. Жуткий жёлтый свет в окне на другом конце посёлка...

Что там? Может быть, какое-нибудь горе? Или одинокая старуха, которая боится погасить свет на ночь?

ТЕНЬ

На исходе ясного осеннего дня летит над лесом ворон, а метрах в ста от него, отражаясь в пустом вечернем небе, – его тень. Но и когда ворон уже смыкается с чертой горизонта и пропадает из поля зрения, тень ещё некоторое время летит – вероятно, сообразно

с каким-то законом физики...

Ещё в университете стал замечать: почерк всё чаще напоминает почерк старшего брата. А с недавних пор – отцовский.

Брата нет уже много лет, но есть во мне его почерк, а значит, тень ещё летит.

МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ

Страх смерти близкого человека. И страх жизни по-

сле смерти близкого человека.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Ничего, впрочем, не констатируя: когда наши либеральные друзья говорят о наших коллективных достижениях, которыми и перед мировой общественностью не грех похвалиться, то употребляют выражения: российский народ, российская история, российская культура, российская литература и даже российский язык. Подразумевают, что это всё – достояние всех народов, составляющих дух и жизненную плоть России.

И мы с этим согласны, а которые из нас что-либо скажут против, лишь бы в отдельных ключевых моментах восстановить историческую справедливость или хотя бы чуточку приблизить имеющуюся точку зрения к реальному положению вещей, так их только за этот порыв обзовут националистами, шовинистами, фа-

шистами. Почему? Потому, что в современном обществе возобладала толерантность, то есть – негласный запрет на жизнеутверждение представителей одной конкретной нации, а именно той, что больше всех и дала, когда шапка пошла по кругу. По мнению наших друзей, это жизнеутверждение одной причинит ущерб существованию других в составе единого целого. Что жизнеутверждение тех других способно, так или иначе, причинить ущерб существованию той одной нации, об этом наши друзья предпочитают умолчать.

И при том при всём: едва речь заходит о теневых явлениях нашей жизни, вообще сопутствующих историческому существованию любой нации, те же самые либеральные друзья вооружаются презираемой ими националисти-

ческой терминологией и проводят строгое размежевание, дабы, так сказать, выкорчевать корень зла и предъявить его цивилизованному человечеству. При сём «землепользовании» весь шлак и смрад нашей жизни отходит, как ни странно, не за общую границу, что было бы правильно и последовательно в смысле логики, а за межевой столб той самой од-

ной конкретной нации, которой во всех иных случаях отказывается в праве на предопределение. И вот уже наши толерантные друзья, утирая широкие плешины, взахлёб рассуждают о русском бунте («кровавом и беспощадном»), русском фашизме, русском беспамятельстве, русском невежестве, русском пьянстве и, разумеется, русском свинстве.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Живёт как под стеклянным куполом: видеть видит, понимать понимает, а откуда ветер дует – не знает.

ЧУВСТВО ВЕТРА

Дядя Юра П. остановился в дверях зала, в котором забыл свой слуховой аппарат (он работал вальщиком на лесной деляне, и в него прилетел «глухарь» – обломившийся сук спиливаемого дерева, после чего дядя Юра стал плохо слышать). Минуту-другую смотрел, как в телевизоре орут, визжат, об-

зываются, брызжут слюной и чуть не лезут в драку, а между бродит холёный один и всех подначивает.

– Ток-шоу, – объяснили деду продвинутые внуки.

– Ток в ж...? – не расслышал дядя Юра, а когда повторили, сказал, что лучше бы он потерял ещё и зрение.

ОТНОШЕНИЕ К ИСТОРИИ

Синички клевали сало в кормушке. Но прилетел воробей, всех разогнал, стал сам клевать.

Наблюдавшая в окно Варвара Петровна Корзенникова – подняв над головой два кулачка:

– У-у, большевицкая рожа! Ты опеть?!

...Отца бабки Вари, героя русско-японской войны, сгноили в Туруханске – за вредительство: он клал клади, а осень была сырая, и клади – стога из хлебных снопов – сопрели. Мать в тот же год посадили в лодку и сослали вниз по Лене

– в Киренск: не приняла посевной план. Маленькая Варя и её трое братьев пошли побираться, чуть не умерли с голода. А потом и их, как детей врагов народа, сплывили по Лене – к матери...

Бабке Варе девяносто три, и в последнее время она забывается. Но час, когда увели отца, и день, когда мать, заревев, повалилась в лодку, и месяцы, когда бродили по дворам и цыганили подачку, она помнит до сих пор – и её берут слёзы.

Зимой бабка Варя кормит птиц, снизав на нитку кусочки сала.

НЕ ОБМАНЕШЬ

Сидели за столом, выпивали «за картошку», которую только что посадили. И он обмяк, расчувствовался и стал рассказывать:

– Помню, в детстве. По осени. После картошек. Бабы. Сговорились на бор – по ягоды. С ночевой. Мамка взяла Кольку с Мишкой, а меня оставила по хозяйству. Батя-то на пашне, встанет в четыре утра, трактор заведёт – и до ночи... Ладно! Ушли они. Я стайки почистил, курам овса насыпал, поросят накормил, корове сена задал, воды в поилку налил... Вечером доить надо! А она, скотобазина, ни в какую. Корова-то. Не подпускает и всё, хоть ты чё с ней... И сена в кормушку натеребил позелёней, и хлеба с солью дал... Бесплезно! Мотыляет башкой да бегаёт по стайке. Орёт. Тёя Варя услышала, пришла. По соседству же. Гово-

рит: «Ты, Санька, оденься в мате-рино, она тебя и не признает! А так ты кто ей? Чужой человек...» Ладно. Одед я мамкину тужурку, сапоги резиновые, платок надрючил – одни глаза видать... И правда! Покосилась, но это... подпустила. Обнюхала. Кажись, свой! Поставил подойник, стал доить. Литры полторы уж надоил, а она ка-ак шваркнет копытом! Подойник об стену, дужка отскочила, молоко разлилось... И снова давай бегать! Я чуть не плачу. Жалко! Молоко-то. Ладно, пришла мамка на другой вечер, сама стала доить...

– А что ей не понравилось? – спрашиваю.

– А руки, – объясняет спокойно, сдвинув на столе два больших кулака в трещинах и заусенцах от грубой деревенской работы. – Одеться-то я оделся, как мать. Но или она доит, или я! Руки-то не обманешь.

РУССКИЕ СКАЗКИ

В детстве моём приключилось: поймался в корчагу налима, бабушка замесила тесто, протопила русскую печь и посадила рыбник – старинный, какие её мать пекла, из непотрошёного налима. Пришло время – вынула, смазала утиным крылышком, макая в топлёное масло, дала настояться в рушнике и взялась резать. А налима-то и нет, один пустой мякиш! Кинулась к печи, пошуровала кочергой – налима тут и есть, запёкшийся. У бабки глаза навылупку! Со всех ног в проулок, где дед пилил дрова. Он-то и растолковал, что, видать, не убил, а лишь оглушил налима, тот и ожил в тесте, когда стало горячо, да и выпрыгнул из пирога...

Ни бабушки, ни деда уже не было – произошла другая занятная потеха.

Как-то осенью, после ледостава, иду на реку за водой. Навстречу – высокий пожилой бурят, учитель ОБЖ. В руках – два ведра. В одном – вода, из другого торчат топорище и щучий хвост. Рассказывает, что прорубил лёд возле берега, наклонился с ведром – а там щука! Кокнул обухом, почерпнул и понёс – хозяйке на уху...

– Надо было желание загадать, Олег Андреевич! – говорю.

– Да я загадывал, чтоб ведра сами шли, а чё-то не идут ни хрена!

– Ну да! Сперва топором по голове, потом – желания...

Вместе посмеялись.

И вот он пошёл дальше, понёс шуку в ведре, смеша прохожих. А я чего-то расчувствовался, вспомнил бабушку с дедом, детство своё. И с внезапной лёгкостью понял, что наши русские сказки – не такой уж и вымысел, и случись неразбериха с печью, пирогом и налимом

лет этак тысячу назад – из неё как пить дать произросла бы волшебная байка не хуже «Колобка». Да и сейчас: пойдя вёдра учителя сами по дымной от мороза улице – я не удивился бы! Потому что было детство. Были бабушка с дедом. И налимом выпрыгивал из пирога.

КОТОМКА

«Душе без веры, как сиротской котомке без хлеба...» Не вспомню, за кем записал. Когда. При каких обстоятельствах. Но сказано верно. И причина, может быть, не в Боге...

– Спасение в чём? – как-то спросил я у православного писателя.

– В молитве, – ответил писатель.

– Но мне не Бога надо! Мне надо человека! – вырвалось у меня.

Писатель ничего не сказал. Лишь пошевелил губами – помолвился. Наверное, за меня. За мою пустую котомку.

ПРОРУБЬ

Если попросту сформулировать назначение искусства, то я бы провёл сравнение с прорубью, к которой идут с утра до вечера и стар и млад.

Так, едва Лену покрыло в ноябре, жители, не решаясь шагнуть на тонкий лёд, выстекли у берега, на мелководе, небольшую лунку. Стали черпать, кто кружкой, кто консервной банкой, постепенно наполняя фляги и бидоны.

Наступили морозы, смежились полыньи, я взял пешню и выдолбил первую в эту зиму прорубь. Широкою, зевластую, на глубокой стремнине! И тогда забыли неказистую лунку с пахнущей водорослями прибрежной водой и стали набирать из моей проруби, но уже не разными черпачками, а вёдрами.

И надо жить в деревне, чтобы

в естественной человеческой близости испытать удовлетворение от дела рук своих, послуживших людям во благо! В этом нет тщеславия, даже того, которое, говорят, полезно. Есть лишь ощущение жизни, проживаемой не зря, а заодно с земляками, которым ты пусть не книжками, да пригодился. Вот поэтому-то, выдалбливая прорубь или помогая старенькой учительнице закатить санки с флягой на крутой пригорок, я утешен уже тем, что можно жить и не писать, но главное своё выразить. Пожалуй, это твоё невеликое, но непосредственное участие в жизни какого-нибудь одного человека, той же учительницы, поважнее сомнительной помощи, которую ты мог бы оказать большему кругу людей, создавая и публикуя свои повести и рассказы.

Морозило свыше недели, на береговых улицах гнуло за полтинник. Наконец потемнело и отволгло, посыпалась белая крошка. Дымы над крышами, в стужу стоявшие прямо, накренились к теплу. И уже отдохновение на душе! Радость, словно вот-вот свершится какое-нибудь чудо. Но и всегдашняя укоризна – за то, что жил на белом свете, худо-бедно, но писал и даже печатал свои книги, а всё как-то не сподобился и за днями, а вот уже и годами следования за некой высокой путеводной звездой не выкроил и осьмушки свободного времени и не изобразил, например, обычный зимний день с облаками и румяной восьмиклассницей на крыльце сельской школы...

Вот живой пример: я сижу за

столом, царапаю эти строки, а сосед дядя Кеша раскрывал длинный толстый листвень, сменив на своей пенсионерской «Дружбе» уже вторую цепь, и теперь возит с улицы в ограду отпиленные чурки. Саночки у него самодельные, замечательные – с полозьями из двух поставленных на ребро металлических спинок от панцирной кровати. Подрулит, вскатит чурку, возьмётся за повод – и тянет, наклоняясь вперёд и тяжесть тела противопоставив массе увлекаемой поклажи. Красота!

Всё же мечта Флобера – написать книгу ни о чём, без начала и конца – равно присуща всем, кто вкусил отравы сочинительства, поиска себя в Слове через поиск Слова в себе.

ДРОВА

Очень тёплый декабрьский день, почти как весной. Отец то и дело сметает пластмассовой метлой пушистый влажный снег со спины коровы, уже с утра жующей сено в загоне.

Дописался до того, что, включив компьютер и взяв карандаш, подумал: «Надо переключить с английского на русский!» Тут же собрался с беговыми лыжами

в лес. Уже оделся и вышел к калитке, но увидел, что братья Таюрские, мои сверстники, колют и складывают в поленницы дрова – и остался дома...

Назавтра тоже купили два хлыста, по тысяче рублей за штуку. Пилил, колот, складывал. Как Таюрские. А вот они что-то и носа не высовывали. Наверное, сидели дома и писали мои рассказы.

ЗАВЕТ

Как всегда, долго рассказывался с утра, но не затем, чтобы раскататься и сесть, а лишь бы найти иное заделье – и не сесть...

– Мы с тобой не выгадывали! Куда пошлют, туда пошлют... – открувая форточку, услышал разго-

вор двух подымахинских старух, да так услышал, словно нанесло ветром, хотя обеих давно не было на белом свете.

И всё стало просто и понятно! И перестал выгадывать, искать иное занятие. И сел за стол, раз уж такую участь ссудил мне Господь.